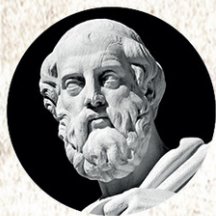


~ БИБЛИОТЕКА ИЗБРАННЫХ ~
СОЧИНЕНИЙ



Платон

Быть ниже самого себя — это
не что иное, как невежественность,
а быть выше самого себя —
не что иное, как мудрость



Библиотека избранных сочинений

Платон
Диалоги

«ЭКСМО»

2019

УДК 1(091)
ББК 87.3(0)

Платон

Диалоги / Платон — «Эксмо», 2019 — (Библиотека избранных сочинений)

ISBN 978-5-04-094437-8

Книга, которую вы держите в руках, предназначена не только и не столько для студентов философских и филологических факультетов. Она для всех, кто интересуется развитием человеческой мысли и духа, а по сути, формированием современного «человека разумного» и цивилизации вообще. Ведь недаром говорят, что вся мировая наука выросла из античной философии. Древнегреческий философ Платон – достойный представитель великой эпохи – Античности. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 1(091)

ББК 87.3(0)

ISBN 978-5-04-094437-8

© Платон, 2019

© Эксмо, 2019

Содержание

Вопросы, на которые дает ответ эта книга	6
«Изумление есть начало философии...» (Платон)	7
Том I	8
Апология Сократа	8
[После признания Сократа виновным]	20
[После вынесения смертного приговора]	22
Критон	25
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Диалоги



ПЛАТОН
428 (427) – 348 (347) гг. до н. э.

Вопросы, на которые дает ответ эта книга

ПРИСТАЛО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛОМ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ГРОЗИТЬ ЕМУ СМЕРТЬЮ?

Нехорошо ты это говоришь, друг мой, будто человеку, который приносит хотя бы маленькую пользу, следует принимать в расчет жизнь или смерть, а не смотреть во всяком деле только одно – делает ли он дела справедливые, достойные доброго человека или злого.

ЧТО СОКРАТ ГОВОРИТ О ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПОКИНУТЬ ЭТОТ МИР?

То заповедное учение, которое гласит, что мы, люди, живем в какой-то темнице и что из этой темницы нам не следует ни освобождать себя, ни убегать, представляется мне каким-то возвышенным и нелегко постигаемым.

КАК СВЯЗАНЫ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПОМИНАНИЕ?

Учение для нас есть не что иное, как воспоминание. Если так, то отсюда неизбежно следует, что то, что мы в данный момент вспоминаем, мы когда-то в прежнее время изучили.

КОГО МОЖНО НАЗВАТЬ СОФИСТОМ?

Этим именем обозначается основанное на мнении лицемерное подражание искусству, запутывающему другого в противоречиях, подражание, принадлежащее к части изобразительного искусства, творящей призраки и с помощью речей выделяющей в творчестве не божественную, а человеческую часть фокусничества: кто сочтет истинного софиста происходящим из этой плоти и крови, тот, кажется, выразится вполне справедливо.

В ЧЕМ РИСК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ?

Потому что ведь гораздо больше риска в приобретении знаний, чем в покупке съестного. Съестное-то ведь и напитки, купив их у торговца или разносчика, ты можешь унести в сосудах... Знания же нельзя унести в сосуде, а поневоле придется, приняв их в собственную душу и научившись чему-либо, уйти или с ущербом для себя, или с пользой.

ЧТО ЕСТЬ МУДРОСТЬ?

Быть ниже самого себя – это не что иное, как невежественность, а быть выше самого себя – не что иное, как мудрость.

КАКОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЛЮБВИ?

Итак, вот с какого далекого времени любовь врождена взаимно людям, соединяет древнюю их природу и старается создать единое из двух и тем самым уврачевать природу человеческую.

«Изумление есть начало философии...» (Платон)

Говорят, что вся мировая наука выросла из античной философии. С этим трудно спорить, ведь древних мыслителей занимали буквально все значимые вопросы бытия: происхождение и строение Вселенной, существование бога (богов), природа человека, проблемы добра и зла... Разделение на отдельные отрасли знаний появилось значительно позднее.

Древнегреческий философ Платон (428 (427) – 348 (347) гг. до н. э.) – достойный представитель своей эпохи. До нас дошло множество его трудов, посвященных самым разным проблемам – от структуры идеального государства до бессмертия души. Примечательно, что эти работы сохранились полностью, а не в виде фрагментов, пересказанных друзьями и учениками.

Кстати, об ученичестве. Платон был учеником Сократа, ставившего во главу угла диалог, сомнение в авторитетах и совместный с оппонентом поиск истины. И Платон также предпочитал строить свои работы в форме диалога: это позволяло не просто познакомить читателя с тем или иным тезисом, но и помочь ему проследить ход рассуждения, сравнить его с собственными умозаключениями. Именно диалектика с ее поиском противоречий и нацеленностью на поиск аргументов была для Платона главным способом познания.

Платона считают одним из отцов-основателей идеализма в философии. Именно он сформулировал понятие идеи, или эйдоса – сущности, которая остается вечно неизменной. Идея – это не просто понятие о той или иной вещи, но также основа ее существования. Отсюда вытекает и платоновское учение о душе; для Платона тело уязвимо и смертно, душа же, имеющая «разумное, яростное и страстное» начала, бессмертна и вечна.

Книга, которая сейчас перед вами, содержит наиболее известные труды великого античного философа, объединенные общим названием «Диалоги». Для удобства читателя мы разделили их на три тома: «Дух», «Познание» и «Человек». Часть этих произведений отображает идеи Сократа, которого Платон весьма почитал, и после того как Сократа обвинили в богохульстве и «подрыве нравственных устоев», оставил для потомков произведение «Апология Сократа». В нем он достоверно отразил речь своего наставника, обращенную к жителям Афин. Часть диалогов, например «Критон», названа именами известных афинян, в том числе и учеников Сократа, и представляет нам философские дискуссии, цель которых – поиск истины.

«Пир» посвящен проблеме любви, «Софист» – своего рода дайджест популярных философских проблем того времени, «Протагор» (это имя известного древнегреческого философа) представляет нам практически портретную галерею знаменитых современников Платона, дискутирующих об искусстве управлять государством, о добродетели...

И, конечно, книга была бы неполной без знаменитых афоризмов Платона, многие из которых в наши дни используются даже в качестве статусов в социальных сетях. А это ли не доказательство вечности философских вопросов? Поэтому напутствуем нашего читателя одной из известных цитат, принадлежащих великому греческому мыслителю: «Во всяком деле главное – это начало!»

Том I Дух

Апология Сократа [После обвинительных речей]

Перевод М. Соловьева

Как подействовали мои обвинители на вас, афиняне, я не знаю; а я из-за них, право, чуть было и сам себя не забыл: так убедительно они говорили. Впрочем, верного-то они, собственно говоря, ничего не сказали. Из множества их поклепов всего больше удивился я одному: они говорили, будто вам следует остерегаться, как бы я вас не провел своим умением говорить. Но, по-моему, верх бесстыдства с их стороны – не смущаться тем, что они тотчас же будут опровергнуты мной на деле, чуть только обнаружится, что я вовсе не силен в красноречии, – конечно, если только они не считают сильным в красноречии того, кто говорит правду; если они это понимают, тогда я готов согласиться, что я – оратор, однако не на их образец. Они, повторяю, не сказали ни слова правды, а от меня вы услышите всю правду. Только, клянусь Зевсом, афиняне, вы не услышите разнаряженной речи, украшенной, как у них, разными оборотами и выражениями, я буду говорить просто, первыми попавшимися словами – ведь я убежден в правоте моих слов, – и пусть никто из вас не ждет ничего другого; да и не пристало бы мне в моем возрасте выступать перед вами, афиняне, наподобие юноши, с сочиненной речью.

Но только я очень прошу вас и умоляю, афиняне, вот о чем: услышавши, что я защищаюсь теми же словами, какими привык говорить и на площади у меняльных лавок, где многие из вас слышали меня, и в других местах, то не удивляйтесь и не поднимайте из-за этого шума. Дело обстоит так: я теперь в первый раз привлечен к суду, а мне уже исполнилось семьдесят лет, и в здешнем языке я несведущ, словно чужестранец. Ведь вы извинили бы меня, если бы я был в самом деле чужеземцем и говорил бы на том языке и тем складом речи, к которым привык с детства, – точно так же и теперь я, по-моему, вправе просить у вас позволения говорить по моему обычаю – хорош ли он или нехорош, – и еще прошу обращать внимание только на то, правду ли я говорю или нет; в этом ведь достоинство судьи, долг же оратора – говорить правду.

И вот правильно будет, афиняне, если сперва я буду защищаться против прежних ложных обвинений и против первых моих обвинителей, а уж потом против теперешних обвинений и теперешних обвинителей. Меня многие обвиняли перед вами и раньше, много уже лет, и все-таки ничего истинного они не сказали; их-то я опасюсь больше, чем Анита с его сообщниками, хотя и эти тоже страшны. Но те страшнее, афиняне! Они восстанавливали против меня очень многих из вас, когда вы были еще детьми, и внушали вам против меня обвинение, в котором не было ни слова правды: будто бы есть некто Сократ, человек мудрый, который испытует и исследует все, что над землею, и все, что под землею, и выдает ложь за правду. Вот эти-то люди, афиняне, пустившие такую молву, – самые страшные мои обвинители, потому что слушающие их думают, будто тот, кто исследует подобные вещи, и богов не признает. Кроме того, обвинителей этих много, и обвиняют они уже давно, да и говорили они с вами тогда, когда по возрасту вы всему могли поверить, ибо некоторые из вас были еще детьми или подростками. Да и обвиняли они заочно: оправдываться было некому. Но всего нелепее то, что и по имени-то их никак не узнаешь и не назовешь, разве вот только случится какой-нибудь среди них сочинитель комедий. Ну, а все те, которые восстанавливали вас против меня по зависти и по злобе или потому, что сами поверили наветам, а затем стали убеждать других, – они совершенно недосыгаемы, их нельзя вызвать сюда, на суд, нельзя никого из них опровергнуть, и

приходится попросту сражаться с тенями: защищаться и опровергать, когда никто не возражает. Поэтому признайте и вы, что у меня, как я сказал, два рода обвинителей: одни обвинили меня теперь, а другие давно – о них я только что упомянул, – и согласитесь, что сперва я должен защищаться против первых: ведь вы слышали их обвинения и раньше, и притом много чаще, чем нынешних обвинителей.

Стало быть, афиняне, мне следует защищаться и постараться в малое время опровергнуть клевету, которая уже много времени держится среди вас. Желал бы я, чтобы это осуществилось на благо и вам, и мне, – чего еще я могу достичь своей защитой? Только я думаю, что это трудно, и для меня вовсе не тайна, каково это дело – пусть оно идет, впрочем, как угодно богу, а закону следует повиноваться – приходится оправдываться.

Разберем же с самого начала, в чем состоит обвинение, от которого пошла обо мне дурная молва, полагаясь на которую, Мелит и подал на меня жалобу. Пусть будет так. В каких именно выражениях клеветали на меня клеветники? Следует привести их обвинение, словно клятвенное показание настоящих обвинителей: «Сократ преступает закон и попусту усердствует, испытывая то, что под землю, да и то, что в небесах, выдавая ложь за правду и других научая тому же». Вот в каком роде это обвинение. Вы и сами все видели в комедии Аристофана, как какой-то Сократ болтается там в корзинке и говорит, что он гуляет по воздуху; и еще он мелет там много разного вздору, в котором я ничего не смыслю. Говорю я это не в укор подобной науке и тому, кто достиг мудрости в подобных вещах, – недоставало, чтобы Мелит привлек меня к суду еще и за это! – а только ведь это, афиняне, нисколько меня не касается. В свидетели могу привести очень многих из вас самих и требую, чтобы это дело обсудили между собою все, кто когда-либо слышал мои беседы, – ведь среди вас много таких. Спросите друг у друга, слышал ли кто из вас когда-нибудь, чтобы я хоть что-то говорил о подобных вещах, и тогда вы узнаете, что настолько же несправедливо и остальное, что обо мне говорят.

Но ничего такого не было, а если вы слышали от кого-нибудь, будто я берусь воспитывать людей и зарабатываю этим деньги, так это тоже неправда, хотя, по-моему, это дело хорошее, если кто способен воспитывать людей, как, например, леонтиец Горгий, кеосец Продик, элидец Гиппий. Все они, афиняне, разъезжают по городам и убеждают юношей, хотя те могут даром пользоваться наставлениями любого из своих сограждан, – бросить своих и поступить к ним в ученики, принося им и деньги, и благодарность. Есть здесь и другой мудрец, приехавший, как я узнал, с Пароса. Встретился мне как-то человек, который переплатил софистам денег больше, чем все остальные, вместе взятые, – Каллий, сын Гиппоника; я и спросил его, а у него двое сыновей:

– Каллий! Если бы твои сыновья были жеребята или бычки и нам предстояло бы нанять для них опытного человека, который сделал бы их еще лучше, усовершенствовав прекрасные качества, свойственные каждому из них, то это был бы какой-нибудь наездник или земледелец; ну, а теперь, раз они люди, кого ты думаешь взять для них в воспитатели? Кто знаток подобной доблести, человеческой или гражданской? Полагаю, ты об этом подумал, раз у тебя сыновья. Есть ли такой человек или нет?

– Конечно, есть.

– Кто же это? Откуда он и сколько берет за обучение?

– Это Эвен, – отвечал Каллий, – он с Пароса, а берет по пяти мин, Сократ.

И подумал я, как счастлив этот Эвен, если он в самом деле обладает таким искусством и так недорого берет за обучение. Я бы сам чванился и гордился, если бы был искусен в этом деле; только ведь я не искусен, афиняне!

Может быть, кто-нибудь из вас возразит: «Однако, Сократ, чем же ты занимаешься? Откуда на тебя эта клевета? Наверное, если бы ты не занимался не тем, что все люди, и не поступал бы иначе, чем большинство из нас, то и не возникло бы столько слухов и толков. Скажи нам, в чем тут дело, чтобы нам зря не выдумывать».

Вот это, мне кажется, правильно, и я постараюсь вам показать, что именно дало мне известность и навлекло на меня клевету. Слушайте же. Быть может, кому-нибудь из вас покажется, что я шучу, но будьте уверены, что я скажу вам сушую правду.

Я, афиняне, приобрел эту известность лишь благодаря некоей мудрости. Какая же это такая мудрость? Та мудрость, что, вероятно, свойственна человеку. Ею я, пожалуй, в самом деле обладаю, а те, о которых я сейчас говорил, видно, мудры какой-то особой мудростью, превосходящей человеческую, уж не знаю, как ее и назвать. Что до меня, то я ее не понимаю, а кто утверждает обратное, тот лжет и говорит это для того, чтобы оклеветать меня.

Прошу вас, не шумите, афиняне, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно. Не от себя буду я говорить, а сошлюсь на того, кто пользуется вашим доверием. **В свидетели моей мудрости, если есть у меня какая-то мудрость, я приведу вам бога, который в Дельфах.** Вы ведь знаете Херефонта – он смолodu был моим другом и другом многих из вас, он разделял с вами изгнание и возвратился вместе с вами. И вы, конечно, знаете, каков был Херефонт, до чего он был неуправим во всем, что бы ни затевал. Прибыв однажды в Дельфы, осмелился он обратиться к оракулу с таким вопросом.

Я вам сказал, не шумите, афиняне!

Вот Херефонт и спросил, есть ли кто на свете мудрее меня, и Пифия ответила ему, что никого нет мудрее. И хотя самого Херефонта уже нет в живых, но вот брат его, здесь присутствующий, засвидетельствует вам, что это так. Посмотрите, ради чего я это говорю: ведь мое намерение – объяснить вам, откуда пошла клевета на меня.

Услышав про это, стал я размышлять сам с собою таким образом: «Что такое бог хотел сказать и что он подразумевает? Потому что я сам, конечно, нимало не считаю себя мудрым. Что же это он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не лжет же он: не пристало ему это». Долго недоумевал я, что такое бог хотел сказать, потом через силу прибегнул я к такому разрешению вопроса: пошел я к одному из тех людей, которые слывут мудрыми, думая, что уж где-где, а тут я скорее всего опровергну прорицание, объявив оракулу: «Вот этот мудрее меня, а ты меня назвал самым мудрым». Но когда я присмотрелся к этому человеку, – называть его по имени нет никакой надобности, скажу только, что тот, наблюдая которого я составил такое впечатление, был одним из государственных людей, афиняне, – так вот я, когда побеседовал с ним, решил, что этот человек только кажется мудрым и многим другим людям, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет. Потом я попробовал показать ему, что он только мнит себя мудрым, а на самом деле вовсе не мудр. Из-за этого и сам он, и многие из присутствовавших возненавидели меня. Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего дельного и путного не знаем, но он, не зная, воображает, будто что-то знает, а я если уж не знаю, то и не воображаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я коли ничего не знаю, то и не воображаю, будто знаю. Оттуда я пошел к другому, из тех, которые казались мудрее первого, и увидел то же самое: и здесь возненавидели меня и сам он, и многие другие. После стал я уже ходить подряд. Замечал я, что делаюсь ненавистным, огорчался и боялся этого, но в то же время мне казалось, что слова оракула необходимо ставить выше всего.

Чтобы понять смысл прорицания, надо было обойти всех, кто слышет знающим что-либо. И, клянусь псом, афиняне, должен вам сказать правду, я вынес вот какое впечатление: те, что пользуются самой большой славой, показались мне, когда я исследовал дело по указанию бога, чуть ли не лишенными всякого разума, а другие, те, что считаются похуже, напротив, более одаренными разумом. Но нужно мне рассказать вам о том, как я странствовал, точно я труд какой-то нес, и все только для того, чтобы убедиться в непреложности прорицания.

После государственных людей ходил я к поэтам – и к трагическим, и к дифирамбическим, и ко всем прочим, – чтобы хоть тут уличить себя в том, что я невежественнее их. Брал я те из их произведений, которые, как мне казалось, всего тщательнее ими обработаны, и спрашивал

у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, научиться от них кое-чему. Стыдно мне, афиняне, сказать вам правду, а сказать все-таки следует. Одним словом, чуть ли не все там присутствовавшие лучше могли бы объяснить творчество этих поэтов, чем они сами. Таким образом, и о поэтах я узнал в короткое время, что не благодаря мудрости могут они творить то, что творят, но благодаря какой-то природной способности и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят. Нечто подобное, как мне показалось, испытывают и поэты; и в то же время я заметил, что из-за своего поэтического дарования они считают себя мудрейшими из людей и во всем прочем, а на деле это не так. Ушел я и оттуда, думая, что превосхожу их тем же самым, чем и государственных людей.

Наконец пошел я и к тем, кто занимается ручным трудом. Я сознавал, что сам, попросту говоря, ничего не умею, зато был уверен, что уже среди них найду таких, кто знает много хорошего. Тут я не ошибся; в самом деле они умели делать то, чего я не умел, и в этом были мудрее меня. Но, афиняне, мне показалось, что они грешили тем же, чем и поэты: оттого что они хорошо владели своим делом, каждый из них считал себя самым мудрым также и во всем прочем, даже в самых важных вопросах, и это заблуждение заслоняло собою ту мудрость, какая у них была; так что, желая оправдать слова оракула, я спрашивал сам себя, что бы я для себя предпочел: оставаться ли таким, как есть, и не быть ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством или, как они, быть и мудрым, и невежественным. И я отвечал самому себе и оракулу, что лучше уж мне оставаться как есть.

Из-за этого самого исследования, афиняне, с одной стороны, многие меня возненавидели так, что сильней и глубже и нельзя ненавидеть, отчего и возникло множество наветов, а с другой стороны, начали мне давать прозвание мудреца, потому что присутствовавшие каждый раз думали, будто если я доказываю, что кто-то вовсе не мудр в чем-то, то сам я в этом весьма мудр.

А в сущности, афиняне, **мудрым-то оказывается бог, и этим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе даже ничего**, и, кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим именем ради примера, все равно как если бы он сказал: «Из вас, люди, всего мудрее тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего по правде не стоит его мудрость».

Я и посеючас брожу повсюду – все выискиваю и допытываюсь, по слову бога, нельзя ли мне признать мудрым кого-нибудь из граждан или чужеземцев; и всякий раз, как это мне не удастся, я, чтобы подтвердить изречение бога, всем показываю, что этот человек не мудр. Вот чем я занимался, поэтому не было у меня досуга заняться каким-нибудь достойным упоминания делом, общественным или домашним; так и дошел я до крайней бедности из-за служения богу.

Кроме того, следующие за мною по собственному почину молодые люди, те, у кого вдоволь досуга, сыновья самых богатых граждан, рады бывают послушать, как я испытываю людей, и часто подражают мне сами, принимаясь испытывать других, и, я полагаю, они в изобилии находят таких людей, которые думают, будто они что-то знают, а на деле знают мало или вовсе ничего. От этого те, кого они испытывают, сердятся не на самих себя, а на меня, и говорят, что есть какой-то Сократ, негоднейший человек, который портит молодежь. А когда их спросят, что же он делает и чему он учит, то они не знают, что сказать, и, чтобы скрыть свое затруднение, говорят о том, **что вообще принято говорить обо всех, кто философствует: и про то, «что в небесах и под землею», и про то, что «богов не признает» и «ложь выдает за правду»**. А правду им не очень-то хочется сказать, я думаю, потому, что тогда обнаружилось бы, что они только прикидываются, будто что-то знают, а на деле ничего не знают. А так как они, по-моему, честолюбивы, сильны, многочисленны и говорят обо мне упорно и убедительно, то давно уже прожужжали вам уши клеветой на меня.

Вот почему накинулись на меня и Мелит, и Анит, и Ли-кон; Мелит негодует на меня из-за поэтов, Анит – из-за ремесленников, а Ликон – из-за ораторов. Так что я удивился бы, как говорил вначале, если бы оказался в силах опровергнуть перед вами в такое короткое время эту разросшуюся клевету.

Вот вам, афиняне, правда, как она есть, и говорю я вам без утайки, не умалчивая ни о важном, ни о пустяках. Хотя я почти уверен, что этим самым я вызываю ненависть, но как раз это и служит доказательством, что я говорю правду, и что в этом-то и состоит клевета на меня, и именно таковы ее причины. И когда бы вы ни стали расследовать мое дело, теперь или потом, всегда вы найдете, что это так.

Что касается первых моих обвинителей, этой моей защиты будет для вас достаточно; а теперь я постараюсь защитить себя от Мелита, человека доброго и любящего наш город, как он уверяет, и от остальных обвинителей. Они совсем не то, что прежние наши обвинители, поэтому вспомним, в чем состоит их обвинение, выставленное под присягой. Оно гласит примерно так: Сократ преступает законы тем, что портит молодежь, не признает богов, которых признает город, а признает другие, новые божества. Таково обвинение. Рассмотрим же каждый пункт этого обвинения отдельно.

Там говорится, что я преступно порчу молодежь, а я, афиняне, утверждаю, что преступно действует Мелит, потому что он шутит серьезными вещами и легкомысленно вызывает людей в суд, делая вид, что он заботится и печалится о вещах, до которых ему никогда не было никакого дела; а что это так, я постараюсь показать и вам. Подойди сюда, Мелит, и скажи: не правда ли, ты считаешь очень важным, чтобы молодые люди становились все лучше и лучше?

– Конечно.

– В таком случае скажи ты всем здесь присутствующим, кто делает их лучше? Очевидно, ты знаешь, коли заботаешься об этом. Развратителя ты нашел, как ты говоришь: ты вытребовал меня на суд и обвиняешь; а назови-ка теперь того, кто делает их лучше, напхни им, кто это. Вот видишь, Мелит, ты молчишь и не знаешь, что сказать. И тебе не стыдно? И это, по-твоему, недостаточное доказательство моих слов, что тебе нет до этого никакого дела? Однако, добрый человек, говори же: кто делает их лучше?

– Законы.

– Да не об этом я спрашиваю, достойнейший, а кто тот человек; ведь он прежде всего и их знает, эти самые законы.

– А вот они, Сократ, – судьи.

– Что ты говоришь, Мелит! Вот эти самые люди способны воспитывать юношей и делать их лучше?

– Как нельзя более.

– Все? Или одни из них способны, а другие нет?

– Все.

– Хорошо же ты говоришь, клянись Герой, и какое изобилие людей, полезных для других!

Ну, а вот эти, кто нас сейчас слушает, они делают юношей лучше или нет?

– И они тоже.

– А члены совета?

– Да, и члены совета.

– Но в таком случае, Мелит, уж не портят ли юношей те, что участвуют в народном собрании? Или и те тоже, все до единого, делают их лучше?

– И те тоже.

– По-видимому, значит, кроме меня, все афиняне делают их безупречными, только я один порчу. Ты это хочешь сказать?

– Как раз это самое.

– Большое же ты мне, однако, приписываешь несчастье. Но ответь-ка мне: по-твоему, так же бывает и с конями – все делают их лучше, а портит кто-нибудь один? Или же совсем напротив, сделать их лучше способен кто-нибудь один или очень немногие, именно наездники, а все прочие, когда имеют дело с конями и пользуются ими, только портят их? Не бывает ли, Мелит, точно так же не только с конями, но и со всеми другими животными? Конечно, это так, согласен ли ты и Анит с этим или не согласен: потому что **было бы удивительное счастье для юношей, если бы их портил только один, остальные же приносили бы им пользу.** Впрочем, Мелит, ты достаточно показал, что никогда ты не заботился о юношах, и ясно обнаруживаешь свое небрежение; тебе нет никакого дела до того, из-за чего ты вытребо-вал меня на суд.

Еще вот что, Мелит, скажи нам, ради Зевса; лучше ли жить среди порядочных граждан или среди дурных? Отвечай, дружище! Ведь это совсем не трудный вопрос. Не причиняют ли дурные люди зла тем, кто постоянно вблизи них, а хорошие не приносят ли блага?

– Конечно.

– Так найдется ли кто-нибудь, кто предпочел бы, чтобы окружающие вредили ему, а не приносили пользу? Отвечай, добрый человек; ведь и закон предписывает отвечать. Неужто кто-нибудь желает, чтобы ему вредили?

– Конечно, нет.

– Ну, вот. А привел ты меня сюда как человека, который портит и ухудшает юношей умышленно или неумышленно?

– Умышленно.

– Как же это так, Мелит? Ты, такой молодой, настолько мудрее меня, что тебе уже известно, что злые всегда причиняют тем, кто к ним всех ближе, какое-нибудь зло, а хорошие – добро, между тем я, такой старый, до того невежествен, что не знаю даже, что если я кого-нибудь из окружающих сделаю негодяем, то мне придется опасаться, как бы он не сделал мне зла, – и вот такое огромное зло я творю умышленно, как ты утверждаешь. В этом я тебе не поверю, Мелит; да и никто другой, я думаю, не поверит. Но или я не порчу, или если порчу, то неумышленно; таким образом, у тебя выходит ложь в обоих случаях. Если же я порчу неумышленно, то за такие неумышленные проступки следует по закону не вызывать сюда, а частным образом наставлять и увещевать. Ведь ясно, что, уразумевши, я перестану делать то, что делаю неумышленно. Ты же меня избегал, не хотел научить и вызвал сюда, куда, по закону, следует приводить тех, кто нуждается в наказании, а не в научении. Уже из этого ясно, афиняне, что Мелиту, как я говорил, никогда не было до этих вещей никакого дела.

Все-таки ты нам скажи, Мелит, каким образом, по-твоему, порчу я молодежь? Очевидно, судя по доносу, который ты на меня подал, я будто бы учу не признавать богов, которых признает город, а признавать другие, новые божества? Не это ли ты хотел сказать, говоря, что я порчу своим учением?

– Вот именно это самое.

– Так ради них, Мелит, ради этих богов, о которых теперь идет речь, скажи еще яснее и для меня, и для этих вот людей. Ведь я не могу понять, что ты хочешь сказать: то ли я учу признавать неких богов, а следовательно, и сам признаю существование богов, так что я не совсем безбожник, и не в этом мое преступление, а только в том, что я учу признавать не тех богов, которых признает город, но других, и в том-то ты меня и обвиняешь, что я признаю других богов, – то ли, по твоим словам, я вообще не признаю богов, и не только сам не признаю, но и других этому научаю.

– Вот именно, я и говорю, что ты вообще не признаешь богов.

– Удивительный ты человек, Мелит! Зачем ты это говоришь? Значит, я не признаю богами ни солнце, ни луну, как признают прочие люди?

– Право же, так, судьи, потому что он утверждает, что солнце – камень, а луна – земля.

– Анаксагора, стало быть, ты обвиняешь, друг мой Мелит, и так презираешь судей и считаешь их столь несведущими в литературе, что думаешь, будто им неизвестно, что книги Анаксагора из Клазомен переполнены такими утверждениями? А молодые люди, оказывается, узнают это от меня, когда могут узнать то же самое, заплативши в оркестре самое большое драхму, и потом осмеять Сократа, если он станет приписывать себе эти мысли, к тому же еще столь нелепые! Но скажи, ради Зевса, так-таки я, по-твоему, и считаю, что нет никакого бога?

– Клянусь Зевсом, никакого.

– Это невероятно, Мелит, да мне кажется, ты и сам этому не веришь. По-моему, афиняне, он – большой наглец и озорник, и подал на меня эту жалобу просто по наглости и озорству, да еще по молодости лет. Похоже, что он пробовал сочинить загадку: «Заметит ли Сократ, наш мудрец, что я шучу и противоречу сам себе, или мне удастся провести и его, и прочих слушателей?» Потому что, мне кажется, в своем доносе он сам себе противоречит, все равно как если бы он сказал: «Сократ нарушает закон тем, что не признает богов, а признает богов». Ведь это же шутка!

Посмотрите вместе со мной, афиняне, так ли он это говорит, как мне кажется. Ты, Мелит, отвечай нам, а вы помните, о чем я вас просил вначале, – не шуметь, если я буду говорить по-своему.

Есть ли, Мелит, на свете такой человек, который дела людские признавал бы, а людей не признавал? Только пусть он отвечает, афиняне, а не шумит по всякому поводу. Есть ли на свете кто-нибудь, кто бы коней не признавал, а верховую езду признавал бы? Или флейтистов бы не признавал, а игру на флейте признавал бы? Не существует такого, Мелит, превосходнейший человек! Если ты не желаешь отвечать, то я скажу это тебе и всем присутствующим. Но ответь хоть вот на что: бывает ли, чтобы кто-нибудь признавал демонические знамения, а самих демонов бы не признавал?

– Нет, не бывает.

– Наконец-то! Как это хорошо, что афиняне тебя заставили отвечать! Итак, ты утверждаешь, что демонические знамения я признаю и других учу узнавать их, все равно – новые ли они или древние; по твоим словам, я демонические знамения признаю, и в своей жалобе ты подтвердил это клятвою. Если же я признаю демонические знамения, то мне уже никак невозможно не признавать демонов. Разве не так? Конечно, так. Полагаю, что ты согласен, раз не отвечаешь. А не считаем мы демонов или богами, или детьми богов? Да или нет?

– Конечно, считаем.

– Итак, если демонов я признаю, с чем ты согласен, а демоны – это некие боги, то и выходит так, как я сказал: ты шутишь и предлагаешь загадку, утверждая, что я не признаю богов и в то же время признаю богов, потому что демонов-то я признаю. С другой стороны, если демоны – это как бы побочные дети богов, от нимф или от кого-нибудь еще, как гласят предания, то какой же человек, признавая детей богов, не будет признавать самих богов? Это было бы так же нелепо, как если бы кто-нибудь признавал, что существуют мулы, потомство лошадей и ослов, а что существуют лошади и ослы, не признавал бы. Нет, Мелит, не может быть, чтобы ты подал это обвинение иначе, как желая испытать нас, или же ты просто не ведал, в каком бы настоящем преступлении обвинить меня... **Но уверить людей, у которых есть хоть немного ума, в том, будто возможно признавать и демоническое, и божественное и вместе с тем не признавать ни демонов, ни богов, это тебе никак не удастся.**

Впрочем, афиняне, что я не виновен в том, в чем меня обвиняет Мелит, это, пожалуй, не требует дальнейших доказательств – довольно будет сказанного. А что у многих возникло против меня сильное ожесточение, о чем я и говорил вначале, это, будьте уверены, истинная правда. И если что погубит меня, так именно это; не Мелит и не Анит, а клевета и недоброжелательство многих – то, что погубило уже немало честных людей и, думаю, еще погубит, – рассчитывать, что дело на мне остановится, нет никаких оснований.

Но, пожалуй, кто-нибудь скажет: «Не стыдно ли тебе, Сократ, заниматься таким делом, которое грозит тебе теперь смертью?»

На это я, по справедливости, могу возразить: «Нехорошо ты это говоришь, друг мой, будто человеку, который приносит хотя бы маленькую пользу, следует принимать в расчет жизнь или смерть, а не смотреть во всяком деле только одно – делает ли он дела справедливые, достойные доброго человека или злого. Плохими, по твоему рассуждению, окажутся все те полубоги, что пали под Троей, в том числе и сын Фетиды. Он, из страха сделать что-нибудь постыдное, до того презирал опасность, что когда мать его, богиня, видя, что он стремится убить Гектора, сказала ему, помнится, так: "Дитя мое, если ты отомстишь за убийство друга твоего Патрокла и убьешь Гектора, то сам умрешь: "Скоро за сыном Приама конец и тебе уготован", – то он, услышав это, не посмотрел на смерть и опасность – он гораздо больше страшился жить трусом, не отомстив за друзей. "Умереть бы, – сказал он, – мне тотчас же, покарвав обидчика, только бы не оставаться еще здесь, у кораблей дуговидных, посмешищем для народа и бременем для земли". Неужели ты думаешь, что он остерегался смерти и опасности?»

Поистине, афиняне, дело обстоит так: где кто занял место в строю, находя его самым лучшим для себя, или где кого поставил начальник, тот там, по моему мнению, и должен оставаться, несмотря на опасность, пренебрегая и смертью, и всем, кроме позора. А если бы после того, как меня ставили в строй начальники, выбранные вами, чтобы распоряжаться мной – так было под Потидеей, под Амфиполем и под Делием, – и после того как я, подобно любому другому, оставался в строю, куда они меня поставили, и подвергался смертельной опасности, – если бы теперь, когда меня бог поставил в строй, обязав, как я полагаю, жить, занимаясь философией и испытывая самого себя и людей, я бы вдруг испугался смерти или еще чего-нибудь и покинул бы строй, это был бы ужасный проступок. И за этот проступок меня в самом деле можно было бы, по справедливости, привлечь к суду и обвинить в том, что я не признаю богов, так как не слушаюсь прорицаний, боюсь смерти и воображаю себя мудрецом, не будучи мудрым. Ведь бояться смерти, афиняне, это не что иное, как, приписывая себе мудрость, которой не обладаешь, возомнить, будто знаешь то, чего не знаешь. **Ведь никто не знает ни того, что такое смерть, ни даже того, не есть ли она для человека величайшее из благ,** между тем ее боятся, словно знают наверное, что она – величайшее из зол. Но не самое ли позорное невежество – воображать, будто знаешь то, чего не знаешь? Я, афиняне, этим, пожалуй, и отличаюсь от большинства людей, и если я кому кажусь мудрее других, то разве только тем, что, недостаточно зная об Аиде, я так и считаю, что не знаю. А что нарушать закон и не повиноваться тому, кто лучше меня, будь то бог или человек, нехорошо и постыдно, это я знаю. Поэтому неизвестного, которое может оказаться и благом, я никогда не стану бояться и избегать больше, чем того, что заведомо есть зло.

Даже если бы вы меня теперь отпустили, не послушав Анита, который говорил, что мне с самого начала не следовало приходить сюда, а уж раз я пришел, то нельзя не казнить меня, и внушал вам, что если я избегну наказания, то сыновья ваши, занимаясь тем, чему учит Сократ, испортятся уже вконец все до единого, – даже если бы вы сказали мне: «На этот раз, Сократ, мы не послушаемся Анита и отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты больше уже не занимался этими исследованиями и оставил философию, а если еще раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть», – так вот, повторяю, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам сказал: «Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее бога, чем вас, и, пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: "Ты лучший из людей, раз ты афинянин, гражданин величайшего города, больше всех прославленного мудростью и могуществом, не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разумности, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше?" И если кто из вас станет спорить и утверждать, что он

заботится, то я не отстану и не уйду от него тотчас же, а буду его расспрашивать, испытывать, уличать, и, если мне покажется, что в нем нет доблести, а он только говорит, что она есть, я буду попрекать его за то, что он самое дорогое ни во что не ценит, а плохое ценит дороже всего. Так я буду поступать со всяким, кого только встречу, с молодым и старым, с чужеземцами и с вами – с вами особенно, жители Афин, потому что вы мне ближе по крови. Могу вас уверить, что так велит бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем это мое служение богу. Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, и молодого, и старого, заботиться прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше; я говорю, что не от денег рождается доблесть, а от доблести бывают у людей и деньги, и все прочие блага как в частной жизни, так и в общественной. Если такими речами я порчу юношей, то это, конечно, вредно. А кто утверждает, что я говорю не это, но что-нибудь другое, тот говорит ложь. Вот почему я могу вам сказать: «Афиняне, послушаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или нет, но поступать иначе я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз».

Не шумите, афиняне, исполните мою просьбу: не шуметь, что бы я ни сказал, а слушать; я думаю, вам будет полезно послушать меня. Я намерен сказать вам и еще кое-что, от чего вы, пожалуй, подымете крик, только вы никоим образом этого не делайте. Будьте уверены, что если вы меня, такого, каков я есть, казните, то вы больше повредите самим себе, чем мне. Мне-то ведь не будет никакого вреда ни от Мелита, ни от Анита – да они и не могут мне повредить, потому что я не думаю, чтобы худшему было позволено вредить лучшему. Разумеется, он может убить, или изгнать, или обесчестить. Он или еще кто-нибудь, пожалуй, считают это большим злом, но я не считаю, – по-моему, гораздо большее зло то, что он теперь делает, пытаясь несправедливо осудить человека на смерть. Таким образом, афиняне, я защищаюсь теперь вовсе не ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудив меня на смерть, не лишиться дара, который вы получили от бога. Ведь если вы меня казните, вам не легко будет найти еще такого человека, который попросту – смешно сказать – приставлен богом к нашему городу, как к коню, большому и благородному, но обленившемуся от тучности и нуждающемуся в том, чтобы его подгонял какой-нибудь овод. Вот, по-моему, бог послал меня в этот город, чтобы я, целый день носясь повсюду, каждого из вас будил, уговаривал, упрекал непрестанно. Другого такого вам нелегко будет найти, афиняне, а меня вы можете сохранить, если мне поверите. Но очень может статься, что вы, рассердившись, как люди, которых будят, спросонок прихлопнете меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита. Тогда вы всю остальную вашу жизнь проведете в спячке, если только бог, заботясь о вас, не пошлет вам еще кого-нибудь. А что я действительно таков, каким меня дал этому городу бог, вы можете усмотреть вот из чего: на кого из людей это похоже – забросить все свои собственные дела и столько уж лет терпеть домашние неурядицы, а вашими делами заниматься всегда, подходя к каждому по-особому, как отец или старший брат, и убеждая заботиться о доблести. И если бы я при этом пользовался чем-нибудь и получал бы плату за свои наставления, тогда бы еще был у меня какой-нибудь расчет, а то вы теперь сами видите, что мои обвинители, которые так бесстыдно обвиняли меня во всем прочем, тут, по крайней мере, оказались неспособными к бесстыдству и не представили свидетеля, что я когда-либо получал или требовал какую-нибудь плату. **Я могу представить достаточно, я полагаю, свидетеля того, что я говорю правду, – мою бедность.**

Может в таком случае показаться странным, что я даю советы лишь частным образом, обходя всех и во все вмешиваясь, а выступать всенародно в собрании и давать советы городу не решаюсь. Причина здесь в том, о чем вы часто и повсюду от меня слышали: со мною приключается нечто божественное или демоническое, над чем и Мелит посмеялся в своем доносе. Началось у меня это с детства: возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет. Вот этот-то

голос и возбраняет мне заниматься государственными делами. И, по-моему, прекрасно делает, что возбраняет. Будьте уверены, афиняне, что если бы я попытался заняться государственными делами, то уже давно бы погиб и не принес бы пользы ни себе, ни вам. И вы на меня не сердитесь за то, если я вам скажу правду: нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам или какому-нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве. Нет, кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему суждено уцелеть хоть на малое время, должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное поприще не должен. Доказательства этому я вам представлю самые веские, не рассуждения, а то, что вы дорожите цените, – дела. Итак, выслушайте, что со мной случилось, и тогда вы убедитесь, что даже под страхом смерти я никому не могу уступить вопреки справедливости, а не уступая, могу от этого погибнуть.

То, что я вам расскажу, тяжело и скучно слушать, зато это истинная правда. Никогда, афиняне, не занимал я в городе никакой другой должности, но в совете я был. И пришла нашей филе Антиохиде очередь заседать, в то время когда мы желали судить сразу всех десятерых стратегов, которые не подобрали тела погибших в морском сражении, – судить незаконно, как вы все признали это впоследствии. Тогда я, единственный из пританов, не желал допустить нарушения закона и голосовал против. Когда ораторы готовы были обвинить меня и отдать под стражу, да и вы сами этого требовали и кричали, я думал о том, что мне скорее следует, несмотря на опасность, стоять на стороне закона и справедливости, чем, из страха перед тюрьмой или смертью, быть заодно с вами, так как ваше решение несправедливо. Это было еще тогда, когда город управлялся народом, а когда наступило время олигархии, то и тридцать тиранов, в свою очередь, призвали меня и еще четверых граждан в Круглую палату и велели нам привезти с Саламина саламинца Леонта, чтобы казнить его. Много в этом роде приказывали они и другим, желая увеличить число виновных. Только и на этот раз опять я доказал не словами, а делом, что мне смерть, попросту говоря, нипочем, а вот воздерживаться от всего несправедливого и нечестивого – это для меня все. Как ни сильно было это правительство, а меня оно не испугало настолько, чтобы заставить совершить несправедливость. Когда вышли мы из Круглой палаты, четверо из нас отправились на Саламин и привезли Леонта, а я отправился к себе домой. Возможно, меня бы за это казнили, если бы то правительство не пало в скором времени. И всему этому у вас найдется много свидетелей.

Неужели я, по-вашему, мог бы прожить столько лет, если бы занимался общественными делами, и притом так, как подобает порядочному человеку, – спешил бы на помощь правым и считал бы это самым важным, как оно и следует? Никким образом, афиняне! Да и никому другому это невозможно. А я всю свою жизнь оставался таким и в общественных делах, насколько о них участвовал, и в частных: никогда и ни с кем я не соглашался вопреки справедливости – ни с теми, которых клеветники мои называют моими учениками, ни еще с кем-нибудь.

Да я и не был никогда ничьим учителем, а если кто, молодой или старый, желал меня слушать и наблюдать, как я делаю свое дело, то я никому никогда не препятствовал. И не то чтобы я, получая деньги, вел беседы, а не получая, не вел, но одинаково, как богатому так и бедному, позволяю я задавать мне вопросы, а если кто хочет, то и отвечать мне и слушать, что я говорю. И если кто из них становится лучше или хуже, я, по справедливости, не могу за это держать ответ, потому что никого никогда не обещал учить и не учил. Если же кто утверждает, будто он когда-либо частным образом учился у меня или слышал от меня что-нибудь, чего бы не слышали и все остальные, тот, будьте уверены, говорит неправду.

Но отчего же некоторым нравится подолгу проводить время со мною? Вы уже слышали, афиняне, – я вам сказал всю правду, – что им нравится слушать, как я испытываю тех, кто считает себя мудрым, хотя на самом деле не таков. Это ведь очень забавно. А делать это, повторяю, поручено мне богом и в прорицаниях, и в сновидениях, и вообще всеми способами, какими

когда-либо еще обнаруживалось божественное определение и поручало что-либо исполнить человеку. Это не только верно, афиняне, но и легко доказать: если одних юношей я порчу, а других уже испортил, то ведь те из них, которые уже состарились и узнали, что когда-то, во времена их молодости, я советовал им что-нибудь дурное, должны были бы теперь прийти сюда с обвинениями, чтобы покарать меня. А если сами они не захотели, то кто-нибудь из их домашних – отцы, братья, другие родственники – вспомнили бы теперь об этом, если только их близкие потерпели от меня что-нибудь дурное. Да, многие из них в самом деле тут, как я вижу: вот, во-первых, Критон, мой сверстник и из одного со мною дема, отец вот этого Критобула; затем сфеттиец Лисаний, отец вот этого Эсхина; вот еще кефисиец Антифон, отец Эпигена; а вот те, чьи братья подолгу проводили время со мной, – Никострат, сын Феозотида и брат Феодота – самого Феодота уже нет в живых, так что он не мог упросить брата; и вот Парал, сын Демодока, которому Феаг приходился братом; а вот Адимант, сын Аристана, которому вот он, Платон, приходится братом, и Эантодор, брат вот этого Аполлодора. Я могу назвать еще многих других, и Мелиту в его речи всего нужнее было сослаться на кого-нибудь из них, как на свидетеля; если тогда он забыл это сделать, пусть сделает теперь, я не возражаю, – пусть скажет, если ему есть, что сказать по этому поводу. Но вы убедитесь, афиняне, что, наоборот, все будут готовы помочь мне, развратителю, кто причиняет зло их домашним, как утверждают Мелит и Анит. У самих испорченных мною, пожалуй, еще может быть расчет помочь мне, но у их родных, которые не испорчены, у людей уже пожилых, какое может быть другое основание помогать мне, кроме твердой и справедливой уверенности, что Мелит говорит ложь, а я говорю правду.

Но довольно об этом, афиняне! Вот, пожалуй, и все, что я могу так или иначе привести в свое оправдание.

Возможно, что кто-нибудь из вас рассердится, вспомнив, как сам он, когда судился в суде и не по такому важному делу, как мое, упрасивал и умолял судей с обильными слезами и, чтобы разжалобить их как можно больше, приводил сюда своих детей и множество родных и друзей, – а вот я ничего такого делать не намерен, хотя дело мое может, как я понимаю, принять опасный оборот. Быть может, подумав об этом, кто-нибудь из вас не захочет меня щадить и, рассердившись, подаст свой голос в сердцах. Если кто-нибудь из вас так настроен, – я, конечно, не хочу так думать, но если это так, то, по-моему, я правильно отвечу ему, если скажу:

«Есть и у меня, любезнейший, и какая-никакая семья, тоже ведь и я, как говорится у Гомера, **не от дуба и не от скалы родился, а от людей, так что есть и у меня семья, афиняне, есть сыновья**, даже целых трое, один из них уже подросток, а двое – малолетних, но тем не менее ни одного из них я не приведу сюда и не буду просить вас об оправдании».

Почему же, однако, не намерен я ничего этого делать? Не из-за самомнения, афиняне, и не из презрения к вам. Боюсь ли я или не боюсь смерти, это мы сейчас оставим, но для чести моей и вашей, для чести всего города, мне кажется, было бы некрасиво, если бы я стал делать что-нибудь такое в мои годы и при той репутации, которую я составил, заслуженно или незаслуженно, – все равно. Принято все-таки думать, что Сократ отличается чем-то от большинства людей, а если так стали бы себя вести те из вас, кто, по-видимому, выделяется или мудростью, или мужеством, или еще какою-нибудь доблестью, то это было бы позорно. Мне не раз приходилось видеть, как люди, казалось бы, почтенные, чуть только их привлекут к суду, проделывали удивительные вещи, как будто – так они думают – им предстоит испытать нечто ужасное, если они умрут, и как будто они стали бы бессмертными, если бы вы их не казнили. Мне кажется, что эти люди позорят наш город, так что и какой-нибудь чужеземец может заподозрить, что у афинян люди, выдающиеся своей доблестью, которым они сами отдают предпочтение при выборе на государственные и прочие почетные должности, – эти самые люди ничем не отличаются от женщин. Этого, афиняне, вам, которых, как бы то ни было, считают почтенными, не только не следует делать, но не следует и допускать, если мы станем это делать, –

напротив, вам нужно ясно показывать, что вы гораздо скорее осудите того, кто устраивает эти слезные представления и делает город смешным, чем того, кто ведет себя спокойно.

Не говоря уже о чести, афиняне, мне кажется, что **неправильно просить судью и просьбами вызволять себя, вместо того чтобы разьяснить дело и убеждать. Ведь судья поставлен не для того, чтобы миловать по произволу, но для того, чтобы творить суд по правде;** и присягал он не в том, что будет миловать кого захочет, но в том, что будет судить по законам. Поэтому и нам не следует приучать вас нарушать присягу, и вам не следует к этому приучаться, иначе мы можем с вами одинаково впасть в нечестье. Не думайте, афиняне, будто я должен проделывать перед вами то, что я не считаю ни хорошим, ни правильным, ни благочестивым, – да еще, клянусь Зевсом, проделывать теперь, когда вот он, Мелит, обвиняет меня в нечестии. Ясно, что если бы я стал вас уговаривать и вынуждал бы своей просьбой нарушить присягу, то научил бы вас думать, что богов нет, и, вместо того чтобы защищаться, попросту сам бы обвинял себя в том, что не почитаю богов. Но на деле оно совсем иначе, я почитаю их, афиняне, больше, чем любой из моих обвинителей, – поручаю и вам, и богу рассудить меня так, как будет всего лучше и для меня, и для вас.

[После признания Сократа виновным]

Многое, афиняне, не позволяет мне возмущаться тем, что сейчас произошло, – тем, что вы меня осудили, да для меня это и не было неожиданностью. Гораздо более удивляет меня число голосов на той и на другой стороне. Я не думал, что перевес голосов будет так мал, и полагал, что он будет куда больше. Теперь же, оказывается, выпади тридцать камешков не на эту, а на другую сторону, и я был бы оправдан. От Мелита, по-моему, я и теперь отделался, и не только отделался: ведь очевидно для всякого, что если бы Анит и Ликон не выступили против меня со своими обвинениями, то Мелит был бы принужден уплатить тысячу драм, не получив пятой части голосов.

Этот человек присуждает меня к смерти. Пусть так. А я, афиняне, к чему присуждаю себя сам? Очевидно, к тому, чего заслуживаю. Так к чему же? Что, по заслугам, надо сделать со мной, или какой штраф должен я уплатить за то, что я сознательно всю свою жизнь не давал себе покоя и пренебрег всем тем, о чем заботится большинство, – корыстью, домашними делами, военными чинами, речами в народном собрании, участием в управлении, в заговорах, в восстаниях, какие бывают в нашем городе, – ибо считал себя, право же, слишком порядочным, чтобы остаться целым, участвуя во всем этом; за то, что не шел туда, где я не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а шел туда, где частным образом мог оказать всякому величайшее, как я утверждаю, благодеяние, стараясь убедить каждого из вас не заботиться о своих делах раньше и больше, чем о себе самом, о том, как самому стать как можно лучше и разумнее; и не печься о городских делах раньше, чем о самом городе, и таким же образом помышлять и обо всем прочем. Итак, чего же я заслуживаю за то, что я такой? Чего-нибудь хорошего, афиняне, если уже в самом деле воздавать по заслугам, и притом такого, что мне было бы кстати. Что же кстати человеку заслуженному, но бедному, который нуждается в досуге для вашего же назидания? Для подобного человека, афиняне, нет ничего более подходящего, как обед в Пританее! Ему это подобает гораздо больше, чем тому из вас, кто одерживает победу на Олимпийских играх в скачках или в состязаниях колесниц, двуконных и четверо-конных; ведь он дает вам мнимое счастье, а я – подлинное, он не нуждается в пропитании, а я нуждаюсь. Итак, если я должен по справедливости оценить мои заслуги, то вот к чему я присуждаю себя – к обеду в Пританее.

Может быть, вам и это покажется высокомерным, как и то, что я говорил о воплях и мольбах; но это не так, афиняне, а скорее дело вот в чем: я убежден, что ни одного человека не обижаю умышленно, но убедить в этом вас я не могу, потому что мало времени беседовали мы друг с другом. Мне думается, вы бы убедились, если бы у вас, как у других людей, существовал закон решать уголовное дело в течение нескольких дней, а не одного; сейчас не так-то легко за короткое время опровергнуть тяжелую клевету. Так вот, **убежденный в том, что я не обижаю никого, я ни в коем случае не стану обижать и самого себя, наговаривать на себя, будто я заслуживаю чего-нибудь нехорошего**, и назначать себе наказание. С какой стати? Из страха подвергнуться тому, чего требует для меня Мелит и о чем, повторяю, я не ведаю, благо это или зло? И вместо этого я выберу и назначу себе наказанием что-нибудь такое, о чем я знаю наверное, что это – зло? Не тюремное ли заключение? Но ради чего стал бы я жить в тюрьме рабом одиннадцати должностных лиц, каждый раз избираемых заново? Денежную пеню, с тем чтобы быть в заключении, пока не уплачу? Но для меня это то же, что вечное заточение, потому что мне не из чего уплатить. Не присудить ли себя к изгнанию? К этому вы меня, пожалуй, охотно присудите. Сильно бы, однако, должен был я цепляться за жизнь, афиняне, чтобы растеряться настолько и не сообразить вот чего: вы, собственные мои сограждане, не были в состоянии вынести мои беседы и рассуждения, они оказались для вас слишком тяжелыми и невыносимыми, так что вы ищите теперь, как бы от них отделаться; так

неужели другие легко их вынесут? Никоим образом, афиняне. Хороша же в таком случае была бы моя жизнь – уйти в изгнание на старости лет и жить, скитаясь из города в город, причем отовсюду меня бы изгоняли. Я ведь отлично знаю, что, куда бы я ни пришел, молодые люди везде меня будут слушать так же, как и здесь; и если я буду их прогонять, то они сами меня изгонят, подговорив старших, а если я не буду их прогонять, то их отцы и родственники изгонят меня из-за них.

Пожалуй, кто-нибудь скажет: «Но разве, Сократ, уйдя от нас, ты не был бы способен проживать спокойно и в молчании?»

Вот в этом-то всего труднее убедить некоторых из вас. Ведь если я скажу, что это значит не повиноваться богу, а не повинуюсь богу, нельзя быть спокойным, то вы не поверите мне и подумаете, что я притворяюсь; с другой стороны, если я скажу, что **величайшее благо для человека – это ежедневно беседовать о доблести и обо всем прочем, о чем я с вами беседую, испытывая и себя, и других, а без исследования и жизнь не в жизнь для человека**, – если это я вам скажу, то вы поверите мне еще меньше. Между тем это так, афиняне, как я утверждаю, но убедить вас в этом нелегко.

К тому же я и не привык считать, будто я заслуживаю чего-нибудь плохого. Будь у меня деньги, я присудил бы себя к уплате штрафа, сколько полагается; в этом для меня не было бы никакого ущерба, но ведь их нет, разве что вы мне назначите уплатить столько, сколько я могу. Пожалуй, я мог бы уплатить вам мину серебра – столько я и назначаю. Но Платон, присутствующий здесь, афиняне, да и Критон, Критобул, Аполлодор, все они велят мне назначить тридцать мин, а поручительство берут на себя. Итак, я столько и назначаю, а поручители в уплате денег будут у вас надежные.

[После вынесения смертного приговора]

Из-за малого срока, который мне осталось жить, афиняне, теперь пойдет о вас дурная слава, и люди, склонные поносить наш город, будут винить вас в том, что вы лишили жизни Сократа, человека мудрого, – ведь те, кто склонны вас упрекать, будут утверждать, что я мудрец, хотя это и не так. Вот если бы вы немного подождали, тогда бы это случилось для вас само собою: вы видите мой возраст, я уже глубокий старик, и моя смерть близка. Это я говорю не всем вам, а тем, которые осудили меня на смерть. А еще вот что хочу я сказать этим самым людям: быть может, вы думаете, афиняне, что я осужден потому, что у меня не хватало таких доводов, которыми я мог бы склонить вас на свою сторону, если бы считал нужным делать и говорить все, чтобы избежать приговора. Совсем нет. Не хватить-то у меня правда что не хватило, только не доводов, а дерзости и бесстыдства и желания говорить вам то, что вам всего приятнее было бы слышать: чтобы я оплакивал себя, горевал, словом, делал и говорил многое, что вы привыкли слышать от других, но что недостойно меня, как я утверждаю. Однако и тогда, когда угрожала опасность, не находил я нужным прибегать к тому, что подобает лишь рабу, и теперь не раскаиваюсь в том, что защищался таким образом. Я скорее предпочитаю умереть после такой защиты, чем оставаться в живых, защищавшись иначе. Потому что ни на суде, ни на войне ни мне, ни кому-либо другому не следует избегать смерти любыми способами без разбора. И в сражениях часто бывает очевидно, что от смерти можно уйти, бросив оружие или обратившись с мольбой к преследователям; много есть и других уловок, чтобы избегнуть смерти в опасных случаях, – надо только, чтобы человек решился делать и говорить все, что угодно.

Избегнуть смерти не трудно, афиняне, а вот что гораздо труднее – избежать нравственной порчи: она настигает стремительней смерти. И вот меня, человека медлительного и старого, догнала та, что настигает не так стремительно, а моих обвинителей, людей сильных и проворных, – та, что бежит быстрее, – нравственная порча. Я уйду отсюда, приговоренный вами к смерти, а они уходят, уличенные правдою в злодействе и несправедливости. И я остаюсь при своем наказании, и они – при своем. Так оно, пожалуй, и должно было быть, и мне думается, что это в порядке вещей.

А теперь, афиняне, мне хочется предсказать будущее вам, осудившим меня. Ведь для меня уже настало то время, когда люди бывают особенно способны к прорицаниям, – тогда, когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю, афиняне, меня умертвившие, что тотчас за моей смертью постигнет вас кара тяжелее, клянусь Зевсом, той смерти, которой вы меня наказали. Теперь, совершив это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, обратное: больше появится у вас обличителей – я до сих пор их сдерживал. Они будут тем тягостней, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что, умерщвляя людей, вы заставите их не порицать вас за то, что вы живете неправильно, – то вы заблуждаетесь. Такой способ самозащиты и не вполне надежен, и нехорош, а **вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не затыкать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше.** Предсказав это вам, тем, кто меня осудил, я покидаю вас.

А с теми, кто голосовал за мое оправдание, я бы охотно побеседовал о случившемся, пока архонты заняты, и я еще не отправился туда, где я должен умереть. Побудьте со мною это время, друзья мои! Ничто не мешает нам потолковать друг с другом, пока можно. Вам, раз вы мне друзья, я хочу показать, в чем смысл того, что сейчас меня постигло. Со мною, судьи, – вас-то я, по справедливости, могу назвать судьями, – случилось что-то поразительное. В самом деле, ведь раньше все время обычный для меня вещей голос слышался мне постоянно и удерживал меня даже в маловажных случаях, если я намеревался сделать что-нибудь неправильно, а вот

теперь, когда, как вы сами видите, со мной случилось то, что всякий признал бы – да так оно и считается – наихудшей бедой, божественное знамение не остановило меня ни утром, когда я выходил из дому, ни когда я входил в здание суда, ни во время всей моей речи, что бы я ни собирался сказать. Ведь прежде, когда я что-нибудь говорил, оно нередко останавливало меня на полуслове, а теперь, пока шел суд, оно ни разу не удержало меня ни от одного поступка, ни от одного слова. Как же мне это понимать? Я скажу вам: пожалуй, все это произошло мне на благо, и, видно, неправильно мнение всех тех, кто думает, будто смерть – это зло. Этому у меня теперь есть великое доказательство: ведь быть не может, чтобы не остановило меня привычное знамение, если бы я намеревался совершить что-нибудь нехорошее.

Заметим еще вот что: ведь сколько есть оснований надеяться, что смерть – это благо! Смерть – это одно из двух: или умереть значит не быть ничем, так что умерший ничего уже не чувствует, или же, если верить преданиям, это есть для души какая-то перемена, переселение ее из здешних мест в другое место. Если ничего не чувствовать, то это все равно что сон, когда спишь так, что даже ничего не видишь во сне; тогда смерть – удивительное приобретение. По-моему, если бы кому-нибудь предстояло выбрать ту ночь, в которую он спал так крепко, что даже не видел снов, и сравнить эту ночь с остальными ночами и днями своей жизни и, подумавши, сказать, сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем ту ночь, – то, я думаю, не только самый простой человек, но и сам великий царь нашел бы, что таких ночей было у него наперечет по сравнению с другими днями и ночами. Следовательно, **если смерть такова, я тоже назову ее приобретением, потому что, таким образом, все время покажется не дольше одной ночи.**

С другой стороны, если смерть есть как бы переселение отсюда в другое место, и верно предание, что там находятся все умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого, судьи? Если кто придет в Аид, избавившись вот от этих самозванных судей, и найдет там истинных судей, тех, что, по преданию, судят в Аиде, – Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема и всех тех полубогов, которые в своей жизни отличались справедливостью, – разве плохо будет такое переселение?

А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером? Да я готов умирать много раз, если все это правда, – для кого другого, а для меня было бы восхитительно вести там беседы, если бы я там встретился, например, с Паламедом и с Аянтом, сыном Теламона, или еще с кем-нибудь из древних, кто умер жертвою несправедного суда, и я думаю, что сравнивать мою участь с их участью было бы отрадно.

А самое главное – проводить время в том, чтобы испытывать и разбирать обитающих там точно так же, как здешних: кто из них мудр, и кто из них только думает, что мудр, а на самом деле не мудр. Чего не дал бы всякий, судьи, чтобы испытать того, кто привел великую рать под Трою, или Одиссея, Сизифа и множество других мужей и жен, – с ними беседовать, проводить время, испытывать их было бы несказанным блаженством. Во всяком случае, уж там-то за это не казнят. Помимо всего прочего, обитающие там блаженнее здешних еще и тем, что остаются все время бессмертными, если верно предание.

Но и вам, судьи, не следует ожидать ничего плохого от смерти, и уж если что принимать за верное, так это то, что с человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти, и что боги не перестают заботиться о его делах. И моя участь сейчас определилась не сама собою, напротив, для меня это ясно, что мне лучше умереть и избавиться от хлопот. Вот почему и знамение ни разу меня не удержало, и я сам ничуть не сержусь на тех, кто осудил меня, и на моих обвинителей, хотя они выносили приговор и обвиняли меня не с таким намерением, а думая мне повредить, – это в них заслуживает порицания. Все же я попрошу их о немногом: если, афиняне, вам будет казаться, что мои сыновья, повзрослев, заботятся о деньгах или еще о чем-нибудь больше, чем о доблести, воздайте им за это, донимая их тем же самым, чем и я вас донимал; и если они будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я

вас укорял, за то, что они не заботятся о должном и много воображают о себе, тогда как сами ничего не стоят. Если станете делать это, то воздадите по заслугам и мне, и моим сыновьям.

– Но уже пора идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это никому не ведомо, кроме бога.

Критон [Сократ, Критон]

Перевод М. Соловьевы

Сократ. Что это ты пришел в такое время, Критон? Или уже не так рано?

Критон. Очень рано.

Сократ. Который же час?

Критон. Едва светает.

Сократ. Удивляюсь, как это тюремный сторож согласился впустить тебя.

Критон. Он ко мне уже привык, Сократ, потому что я часто сюда хожу; к тому же я отчасти и убогатворил его.

Сократ. А ты сейчас только пришел или давно?

Критон. Довольно давно.

Сократ. Почему же ты не разбудил меня сразу, а сидишь возле меня и молчишь?

Критон. Клянусь Зевсом, Сократ, я бы и сам не желал – в такой беде да еще и не спать. Я давно удивляюсь тебе, глядя, как ты сладко спишь, и нарочно тебя не будил, чтобы ты провел время как можно приятнее. Я и прежде, в течение всей твоей жизни, нередко дивился, какой счастливый у тебя характер, а тем более дивлюсь теперь, при этом несчастье, как легко и кротко ты его переносишь.

Сократ. Но ведь было бы нелепо, Критон, в мои годы роптать на то, что приходится умереть.

Критон. И другим, Сократ, случается попадать на старости лет в такую беду, однако же их старость нисколько не мешает им роптать на свою судьбу.

Сократ. Это правда. Но зачем же ты так рано пришел? Критон. Я пришел с печальным известием, Сократ, печальным и тягостным – не для тебя, как мне представляется, а для меня и для всех твоих близких; до того оно тягостное и мрачное, что для меня, кажется, не может быть ничего мрачнее.

Сократ. Какое же? Уж не пришел ли с Делоса корабль, с приходом которого я должен умереть?

Критон. Он еще не пришел, но думается мне, что придет сегодня, судя по словам тех, кто прибыл с Суния и оставил его там. Из этого ясно, что он придет сегодня, а завтра тебе необходимо будет, Сократ, окончить жизнь.

Сократ. В добрый час, Критон! Если так угодно богам, пусть так и будет. Только я не думаю, чтобы он пришел сегодня.

Критон. Из чего ты это заключаешь?

Сократ. Я тебе скажу. Ведь я должен умереть на другой день после того, как придет корабль?

Критон. Так постановили ведающие этим делом.

Сократ. Вот я и думаю, что он придет не сегодня, а завтра. Заключаю же я это по тому сну, который я видел этой ночью; пожалуй, было кстати, что ты не разбудил меня.

Критон. Какой же это был сон?

Сократ. Мне виделось, что подошла ко мне какая-то прекрасная, величественная женщина в белых одеждах, позвала меня и сказала: «Сократ!

В третий ты день, без сомнения, Фтии достигнешь холмистой».

Критон. Странный сон, Сократ!

Сократ. А ведь смысл его как будто ясен, Критон.

Критон. Даже слишком, конечно. Но, дорогой Сократ, хоть теперь послушайся меня и не отказывайся от своего спасения. Если ты умрешь, меня постигнет не одна та беда, что я

лишусь друга, какого мне никогда и нигде больше не найти; нет, вдобавок многим из тех, кто недостаточно знает нас с тобой, покажется, что я не позаботился спасти тебя, хотя и мог сделать это, стоило мне только не поскудиться. А что может быть позорнее такой славы, когда о нас думают, будто мы ценим деньги больше, чем друзей? Большинство не поверит, что ты сам не захотел уйти отсюда, несмотря на наши настояния. Сократ. Но для чего нам так заботиться о мнении большинства, дорогой Критон? Порядочные люди – а с ними и стоит считаться – будут думать, что все это свершилось так, как оно свершилось на самом деле.

Критон. Но ты уже убедился, Сократ, что приходится считаться и с мнением большинства. Твое дело показало теперь, что большинство способно творить не только мелкое, но, пожалуй, и самое великое зло, если кто оклеветан перед толпой.

Сократ. О, если бы, Критон, большинство способно было творить величайшее зло, с тем чтобы быть способным и на величайшее добро! Это было бы прекрасно! **А то ведь люди не способны ни на то, ни на другое: они не могут сделать человека ни разумным, ни неразумным, а делают что попало.**

Критон. Так-то оно так, Сократ, но ты мне вот что скажи: уж не боишься ли ты, как бы доносчики, если ты уйдешь отсюда, не втянули нас – меня и остальных близких – в беду за то, что мы тебя отсюда похитили, и нам не пришлось потерять много денег, а то и все наше состояние и вдобавок подвергнуться еще чему-нибудь? Если ты боишься чего-нибудь такого, то оставь это: ведь справедливость требует, чтобы мы, ради твоего спасения, пошли на такую опасность, а если понадобится, то и на еще большую. Нет, послушайся меня и сделай по-моему.

Сократ. И об этом я беспокоюсь, Критон, и о многом другом.

Критон. Этого уж ты не бойся. Да и не так много требуют денег те, кто берется спасти тебя и вывести отсюда. Что же касается наших доносчиков, то разве ты не видишь, какой это дешевый народ: для них вовсе не понадобится много денег. В твоём распоряжении мое имущество, и я думаю, его будет достаточно. Если наконец, заботаешь обо мне, ты думаешь, что не надо тратить моего достояния, то здесь есть чужеземцы, которые готовы за тебя заплатить; один из них – Симмий фиванец – уже принес необходимые для этого деньги. То же самое готов сделать Кебет и еще очень многие. Повторяю, не бойся ты этого и не отказывайся от своего спасения; и пусть тебя не мучает то, о чем ты говорил на суде, – что, уйдя отсюда, ты не знал бы, на что себя употребить: ведь и в других местах всюду, куда бы ты ни пришел, тебя будут любить. Если бы ты пожелал отправиться в Фессалию, то у меня там есть друзья, они будут тебя высоко ценить и оберегать, так что во всей Фессалии никто не доставит тебе огорчения.

К тому же, Сократ, ты затеял, по-моему, несправедливое дело – предать самого себя, когда можно спастись. Ты добиваешься для себя того же самого, чего могли бы добиваться – да и добились уже – твои враги, стремясь погубить тебя. Кроме того, ты предаешь, по-моему, и своих собственных сыновей, покидая их, между тем как мог бы их возрастить и воспитать. Это и твоя вина, если они будут жить как придется; а им, конечно, предстоит испытать все, что выпадает обыкновенно сиротам на их сиротскую долю. Или не нужно и заводить детей, или уж надо вместе с ними переносить все невзгоды, кормить и воспитывать их, а ты, по-моему, выбираешь самое легкое. Надо выбрать то, что выбрал бы хороший и мужественный человек, особенно если он уверял, что всю жизнь заботился о доблести.

Что касается меня, так мне стыдно и за тебя, и за нас, твоих близких, если станут думать, что все это произошло с тобой по какому-то малодушию с нашей стороны: и то, что дело попало в суд, хотя могло бы туда и не попасть, и то, как шло разбирательство, и, наконец, это последнее, похожее на нелепую развязку; ведь можно подумать, что мы все упустили по нашей трусости и малодушию, и мы тебя не спасли, и сам ты себя не спас, хотя это было осуществимо и возможно, если бы мы на что-нибудь годились. Вот ты и смотри, Сократ, как бы, кроме беды, не было бы и позора для нас с тобой. Все-таки подумай, – впрочем, думать уже некогда, а нужно решить, решение же может быть только одно, потому что в следующую ночь это должно

совершиться, а если еще станем ждать, то уже ничего нельзя будет сделать. Право, Сократ, послушайся меня и ни в коем случае не поступай иначе.

Сократ. Милый Критон, твое усердие стоило бы очень дорого, если бы оно было еще и верно направлено, а иначе чем оно больше, тем тягостнее. Нам надо обсудить, следует ли это делать или нет. Таков уж я всегда, а не только теперь: я не способен повиноваться ничему из всего, что во мне есть, кроме того разумного убеждения, которое после тщательного рассмотрения представляется мне наилучшим. А те убеждения, которые я высказывал прежде, не могу отбросить и теперь, после того как меня постигла эта участь; напротив, они представляются мне все такими же, и я почитаю и ценю то же самое, что и прежде. Если сейчас мы не найдем доводов лучше, чем эти, то, будь уверен, я с тобой ни за что не соглашусь, даже если бы власть большинства страдала нас, словно детей, еще большим количеством пугал, чем теперь, когда она нам преподносит оковы, казни и лишение имущества. Как же в таком случае разобрать нам это наиболее подходящим образом? Не вернуться ли сначала к тому, что ты говорил насчет мнений, и не посмотреть ли, верно ли мы говаривали неоднократно, что на одни мнения следует обращать внимание, а на другие – нет. Или это верно говорилось лишь в то время, когда мне еще не нужно было умереть, а теперь вдруг стало ясно, что так мы только говорили, а на деле это сущие пустяки? Я очень хочу, Критон, разобрать вместе с тобой, покажется ли мне это суждение хоть сколько-нибудь иным при моем нынешнем положении или все таким же, и отступимся ли мы от него или последуем ему? Как-никак, а люди, которые, по-моему, знали, что говорили, неоднократно утверждали то самое, что я сейчас сказал: **из мнений, какие бывают у людей, одни следует высоко ценить, а другие нет.** Ради богов, Критон, разве это, по-твоему, не верное утверждение? Ведь тебе, судя по-человечески, не предстоит завтра умереть, и у тебя нет в настоящее время такого несчастья, которое могло бы сбивать тебя с толку; так посмотри же, разве неправильно, по-твоему, говорят люди, что не все человеческие мнения следует ценить, но одни надо уважать, а другие нет. Что ты скажешь? Разве это не верно?

Критон. Верно.

Сократ. Значит, хорошие мнения нужно ценить, а дурные не нужно?

Критон. Да.

Сократ. Но хорошие мнения – это мнения людей разумных, дурные – неразумных?

Критон. Как же иначе?

Сократ. Ну а как бы мы решили такой вопрос: человек, занимающийся гимнастикой, обращает внимание на любое мнение – и похвалу, и порицание – всякого человека или только одного – врача или учителя гимнастики?

Критон. Только его одного.

Сократ. Значит, этому человеку надо бояться порицаний и радоваться похвалам его одного, а не большинства?

Критон. Очевидно.

Сократ. Стало быть, он должен действовать, упражнять свое тело, есть и пить только так, как это кажется нужным тому, кто к этому делу приставлен и понимает в нем, а не так, как это кажется нужным всем остальным.

Критон. Да, это так.

Сократ. Пусть так. А если он этого одного не послушается и не будет ценить его мнения и одобрения, а будет ценить отзывы большинства или тех, кто в этом ничего не понимает, то не потерпит ли он какого-нибудь ущерба?

Критон. Как же иначе?

Сократ. Какой же это ущерб? В чем он коснется слушника?

Критон. Очевидно, он коснется его тела, – ведь тело он и губит.

Сократ. Ты верно говоришь. Не так ли и в остальном, Критон, чтобы не перечислять всех случаев? И во всем, что касается справедливого и несправедливого, позорного и прекрасного, хорошего и плохого, – а как раз это мы теперь и обсуждаем, – нужно ли нам слушаться и бояться мнения большинства или же мнения одного человека, если только есть такой, кто это понимает и кого должно стыдиться и бояться больше, чем всех остальных, вместе взятых? Если мы не последуем за ним, мы погубим и обезобразим то, что от справедливости становится лучше, а от несправедливости погибает, как мы и раньше это утверждали. Разве это ничего не значит?

Критон. Думаю, что так, Сократ.

Сократ. Ну, а если, последовав мнению невежд, мы погубим то, что от здорового становится лучше, а от нездорового разрушается, – стоит жить после того, как оно будет разрушено? А ведь таково хотя бы наше тело, не правда ли?

Критон. Да.

Сократ. Так стоит ли нам жить с негодным и разрушенным телом?

Критон. Никоим образом.

Сократ. А стоит ли нам жить, когда разрушено то, чему несправедливость вредит, а справедливость бывает на пользу? Или, может быть, то, на что действует справедливость и несправедливость, – что бы это там ни было, – мы считаем менее важным, чем тело?

Критон. Никоим образом.

Сократ. Значит, наоборот, более ценным?

Критон. Да, и намного.

Сократ. Стало быть, друг мой, уж не так-то мы должны заботиться о том, что скажет о нас большинство, а должны думать о том, что скажет о нас человек, понимающий, что справедливо и что несправедливо, – он один, да еще сама истина. Таким образом, в твоём толковании неправильно прежде всего то, что ты считаешь, будто мы должны заботиться о мнении большинства, что справедливо, прекрасно, хорошо и что нет. «Но ведь большинство, – скажут на это, – в состоянии убить нас».

Критон. Конечно, скажут, Сократ.

Сократ. Верно говоришь... Но, мой милый, не знаю, как тебе, а мне сдается, что это наше рассуждение похоже на прежнее. Подумай-ка вот о чем: считаем мы еще или не считаем, что всего больше нужно ценить не самую жизнь, но жизнь хорошую?

Критон. Конечно, считаем.

Сократ. А что хорошее, прекрасное, справедливое – все это одно и то же, считаем мы или нет?

Критон. Считаем.

Сократ. Так вот, на основании того, в чем мы согласны, нам и следует рассмотреть, справедливо ли будет, если я сделаю попытку уйти отсюда вопреки воле афинян, или же это будет несправедливо, и если окажется, что справедливо, то попытаемся это сделать, если же нет, – то оставим такую попытку. А что ты говоришь о денежных издержках, о молве и о воспитании детей, то, говоря по правде, Критон, не есть ли это соображения людей, которые одинаково готовы убивать, а потом, если это было бы в их силах, воскрешать, и все это ни с того ни с сего; иначе говоря, не есть ли это соображения того же самого большинства? Но нам с тобою, как этого требует наше рассуждение, следует рассмотреть только то, о чем мы сейчас говорили: справедливо ли мы поступим, если заплатим деньги тем, кто меня отсюда выведет, и станем благодарить их, а также если сами выйдем отсюда либо выведем других, – или же мы поистине нарушим справедливость, поступив так? Если окажется, что поступать таким образом – несправедливо, тогда нечего уже считаться с тем, что, оставаясь здесь и ничего не предпринимая, мы должны умереть или как-нибудь по-другому пострадать, – лишь бы не совершить несправедливости.

Критон. Говорить-то ты говоришь хорошо, Сократ, но укажи, что нам делать.

Сократ. Рассмотрим, мой друг, сообща, и если у тебя найдется что возразить на мои слова, то возражай, и я тебя послушаюсь, а если не найдется, то перестань уже, дорогой мой, повторять мне одно и то же, что я должен уйти отсюда вопреки афинянам. Впрочем, мне очень важно поступать в этом деле с твоего согласия, а не вопреки тебе. Обрати внимание на то, удовлетворит ли тебя начало рассмотрения, и постарайся отвечать на вопросы то, что думаешь.

Критон. Ну, конечно, постараюсь.

Сократ. Утверждаем ли мы, что никоим образом не надо добровольно нарушать справедливость или что в одном случае надо поступать несправедливо, а в другом нет? Или же несправедливый поступок никак не может быть хорошим или прекрасным, в чем мы и прежде нередко с тобою соглашались? Или все те наши прежние соглашения улетучились за эти несколько дней, и мы, люди пожилые, Критон, долго и как будто серьезно беседуя друг с другом, не заметили того, что ничем не отличаемся от детей? Или же всего вероятнее, что, как мы тогда говорили, так оно и есть: согласно или не согласно с этим большинство, пострадаем ли мы от этого больше или меньше, чем теперь, все равно – несправедливый поступок есть зло и позор для совершающего его, и притом во всех случаях. Утверждаем мы это или нет?

Критон. Утверждаем.

Сократ. Значит, ни в коем случае нельзя поступать несправедливо.

Критон. Нет, конечно.

Сократ. И значит, **вопреки мнению большинства, нельзя и отвечать несправедливостью на несправедливость, раз уж ни в коем случае нельзя поступать несправедливо.**

Критон. Очевидно, нет.

Сократ. Так что же, Критон: делать зло должно или нет?

Критон. Разумеется, не должно, Сократ.

Сократ. Ну, а воздавать злом за зло, как это утверждает большинство, будет справедливо или несправедливо?

Критон. Никоим образом.

Сократ. Потому что делать людям зло или поступать несправедливо – разницы нет никакой.

Критон. Ты прав.

Сократ. Стало быть, не надо ни отвечать на несправедливость несправедливостью, ни делать кому бы то ни было зла, даже если бы пришлось и пострадать от кого-нибудь. Обрати внимание, Критон, что, соглашаясь с этим, ты соглашаешься вопреки общепринятому мнению, – ведь я знаю, что так думают и будут думать лишь немногие. А когда одни думают так, а другие иначе, то-гда уже не бывает общего мнения, и непременно каждый презирает другого за его образ мыслей. Поэтому и ты вдумайся хорошенько, разделяешь ли ты этот взгляд, согласен ли ты со мной, и можем ли мы начать обсуждение, исходя из того, что никогда не будет правильным поступать несправедливо, отвечать на несправедливость несправедливостью и воздавать злом за претерпеваемое зло. Или ты отступаешься и не разделяешь исходного положения? А я с давних пор и по сей час держусь такого мнения. Если же, по-твоему, все это не так, а как-нибудь иначе, скажи и наставь меня. Но если ты останешься при прежних взглядах, тогда слушай дальше.

Критон. Я остаюсь при прежних взглядах и согласен с тобой, продолжай же.

Сократ. Я скажу о том, что отсюда следует, – или, вернее, спрошу: если ты признал что-нибудь справедливым, нужно ли это исполнять или не нужно?

Критон. Нужно.

Сократ. Вот и делай вывод: уходя отсюда без согласия государства, не причиняем ли мы этим зла кому-нибудь, и если да, то не тем ли, кому всего менее следует его причинять? Или нет? И не преступим ли мы то, что сами признали справедливым?

Критон.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.